

Ценности моей жизни

В ЧЕТВЕРГ ПОУТРУ С ГЕОРГИЕМ ВЛАДИМОВЫМ

Терзания вольной души

«Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь» — слова бабелевского героя приходят на память, когда говоришь о писателе Георгии Владимове. Он написал немного, но каждый его новый роман становился событием литературно-общественной жизни. Бешеный успех первой повести «Большая руда», критическую травлю «Трех минут молчания», политические обвинения «Генерала и его армии» писатель переносил с неколебимым достоинством. Прозаик, критик, публицист, он всегда считал, что всякому злу во Вселенной, сотканной из бессмыслицы, должно быть объяснение, и боролся за свободу в несвободном мире. Пока удавалось — на родине, после изгнания — в тамиздатской печати. «Россия — это рок, это судьба, это участь». Он не отказался от своей роковой судьбы и сделал все, чтобы переменить участь своих соотечественников. Оправдались ли его надежды, есть ли силы продолжать противостояние, вернутся ли читатели к писателям и куда идет литература — эти и другие вопросы мы обсуждали с гостем нашей рубрики в его последний приезд на родину.

Делай, что должно...

● Пришло ли время писать главную книгу жизни?

● Какие житейские события определили вашу судьбу?

● Вы по-прежнему считаете себя не эмигрантом, а изгнанником?

— Я НАЧАЛ писать книгу о своей жизни «Долг путь до Типперэри». Это строчка из песники ирландских стрелков еще времен Первой мировой войны. У нас она была неправильно переведена, и получилось, что речь в ней идет об Англии. Я хотел ехать в Англию, чтобы развезать этот городок, но мне сказали, что это графство в Ирландии. Получился вот такой долгий путь к смыслу. Долгий, как возвращение к своей молодости, своей стране, к самому себе, всему тому, чему посвящена моя книга. Начинается она с моего похода к Михаилу Зощенко в августе 46-го года, после постановления о журнале «Звезда», и заканчивается августом 91-го, крушением памятника Феликсу Дзержинскому. Это вещь о том, как однажды став на тропу сопротивления, трудно, да почти невозможно, с нее сойти. Хотя в 15 лет, когда я со своим другом и подружкой отправился к опальному Зощенко, я был не диссидентом, а суворовцем, будущим чекистом, и это была не политическая демонстрация, а выражение человеческого сочувствия. Мы, конечно, вкладывали в это некий гражданский смысл, выступали не от себя лично, а от имени армии, приветствовали писателя как бывшего офицера. Помню, для нас было важным пойти именно в военной форме. И, чтобы получить отменить ее черный цвет, мы попросили нашу подружку одеться во все белое. Зощенко был подавлен и растерян, разговор — мучительный, но он все-таки был, и Вениамин Каверин не совсем точно передает этот случай в своих мемуарах. Он вспоминает, что Зощенко рассказывал ему про визит суворовцев, которых он выпроводил, испугавшись за них. Он нас не выпроводил, но в разговоре старался не трогать политику, понимая, как здорово мы можем погореть. Мы, конечно, и погорели. Днас продали, началось следствие, длившееся полгода. Нам угрожали, заставляя раскаяться. Что мы и сделали, сказав, что ходили к любимому писателю до всякого постановления. По-настоящему за все это расплатился моя мать, преподававшая русский и литературу в том же суворовском училище. Ведь тогда никто не верил, что идеи могут рождаться в голове самих по себе. Всегда должен был быть вдохновитель, каким в этом случае была назначена моя мать. Ей ввелиши выговор по партийной линии, приставили стукача, который ее долго провоцировал, и в конце концов она была арестована. Хотя, разумеется, никто из руководителей понятия не имел о наших намерениях. Вдохновителем этой операции был наш товарищ, очень пылкий мальчик, который тогда же обратил внимание на еще одно августовское событие: 2 августа 1946 года Военная коллегия объявила о казни генерала Власова и его 11 подельников. И вот мой товарищ атаковал меня в укромный уголок и стал спрашивать: а почему не открылся суд, почему не дали рассказать, что и как? Не многим тогда в голову приходили такие вопросы. У меня эти два события слились в сознании, а позже я понял, что их сближение было неслучайным. Так началось послевоенное закручивание гаек, и интеллигенции — военной, гуманитарной — дали понять: не высовываться. Предателей вешаем, отщепенцев клеймим!

Наша карательная система всегда была изобретательна. Когда мать сидела в тюрьме, мне удалось передать ей записку в финке, где я сообщал, что Сталин умер, а Берия арестован. Ей как раз инкриминировались высказывания против Берии. И вот на суде она вдруг задает вопрос: за что вы меня судите, если Берия английский шпион, о чем написано во всех газетах. Суд в некотором замешательстве удалился на десятиминутный перерыв. После него седовласый полковник с некоторой скорбью в голосе говорит: да, мы ошиблись в этом человеке, он оказался английским шпионом, тай-

ным агентом царской охраны и т.д. Но, когда вы это говорили, он пользовался доверием партии. Суд удалился еще на 5 минут и вынес приговор: 10 лет.

После этого я не мог рассчитывать на распределение по специальности на юридическом факультете Ленинградского университета, где тогда учился. Поэтому пришлось зарабатывать на жизнь грузчиком, молотобойцем, разгружать вагоны. Потом одна добрая женщина из обкома устроила меня в районную сельскую газету на 212-й версте от Ленинграда. Проработал я там полгода, и тут меня заметил Николай Погодин. Он напечатал мои первые статьи в журнале «Театр», после чего меня стали приглашать печататься в «Литературной газете», в «Новом мире». В 25 лет мне в жизни очень повезло, я стал редактором журнала «Новый мир».

Вторая часть книги посвящена прощанию с Питером перед изгнанием. Нападки начались из-за моего слишком буквального следования уставу Союза писателей. Знаю литератора обязывало меня защищать людей, несправедливо преследуемых, выступать и против государственных решений, грозящих стране последствиями непредсказуемыми. Весь набор гонений — отлучение телефона, письма с угрозами, обыски и прочее — я описал в рассказе «Не обращайтесь вниманья, маэстро». Но делать это становилось все труднее. Мне грозил судебный процесс. 1983 год, ужасать не хочется, но выбор жесткий: Запад или Восток. Может, не будь у меня инфаркта, я бы и выбрал Потьму вместо Парижа. Но при том состоянии моего здоровья это означало верную смерть. А здесь подвернулся приглашение Кёльнского университета на год. Меня предупредили, что возвращение будет зависеть от моего поведения. Я не собирался ничего особенного демонстрировать, единственно, что сказал в аэропорту по прилете толпе журналистов, про которую Анатолий Гладилин сказал: «Они окружили тебя, как коенды Козлевича», — что лет через 5-7 начнутся перемены в нашей стране. А так — читал лекции по советской литературе, ничего себе не позволял, и вдруг указ Андропова о лишении нас гражданства. Поэтому, когда Горбачев, если не ошибаюсь в 90-м году, отменил андроповский указ, я был вынужден отказаться от советского гражданства, поскольку мне некуда возвращаться. В 95-м году, когда мне вручали Букеровскую премию, я в своей речи вернул пассаж насчет эмигрантов, не имеющих физической возможности вернуться на родину. Присутствовавший там советник президента Красавченко спросил окружающих, что это значит. Ему объяснили ситуацию, и он предложил нескольким писателям написать письмо с изложением этой истории, которое он положит на стол президенту. Такое письмо было написано, и, кажется, на него была положительная резолюция, но исполненная до сих пор. Говорят, в администрации Лужкова сказали, что своим не хватает.

Сейчас я лично без гражданства, но подал документы на немецкое гражданство, чтобы иметь возможность получить и российский паспорт. Тогда я смогу, живя в России, выезжать за границу в любое время, как это делают Аксенов, Войнович и другие, в свое время оказавшиеся в моем положении — положении не эмигранта, а изгнанника. Все эти годы я жил созная разницу между этими понятиями. Как-то Иосиф Бродский сказал, что ему не важно, где стоит его письменный стол. Мне, пожалуй, тоже все равно, где стоит мой стол, но не все равно — где жить. Я всегда считал, что писатель должен подвергаться тому же давлению жизни, которое испытывает его читатель. Тогда мотор души получает достаточно толлива, чтобы не терять интереса к своим согражданам. На первых порах я выполнял долг перед ними и, не побоясь громких слов, перед отечественной литературой, редактируя журнал «Грани», печатавший наш художественный и публицистический Самиздат. Беда в том, что и журнал «Грани», и издательство «Иосев» принадлежат ИТС, Народно-Трудовому Союзу российских солидаристов, организации сильно подозрительной и, как не раз подтвердилось, «бывшей в употреблении» — в борьбе с демократическим движением в России. На сей счет бытует два мнения: одни говорят, что если бы этой «партии» не существовало,

КГБ ее непременно бы придумал, а другие — что и придумал. Но это начинаешь понимать, только соприкоснувшись с нею вплотную. Мне из России виделась картинка даже трогательная: маленькая, но идейно сплоченная организация отчаянно борется с могучим КГБ, и никак он ее раздавить не может. Поэтому, когда в первое утро на чужбине они предложили мне журнал, я был ошеломлен мыслью поддержать коллег писателей, не дать им заглохнуть без читателей. Чем больше я входил в дела, тем меньше они мне нравились. Еще меньше руководству нравились мой пристальный интерес. Кончилось все грандиозным скандалом, в результате которого я и моя жена, бывшая ответственным секретарем «Грани», покинули свои посты. Самое интересное, что, когда я решил написать то, что видел и слышал, на меня нахлынула «Литературная газета» с двумя омерзительными статьями. Но я все-таки расскажу эту историю с фигурами и картинками в романе «Долг путь до Типперэри».

За свободу заплатили читателем

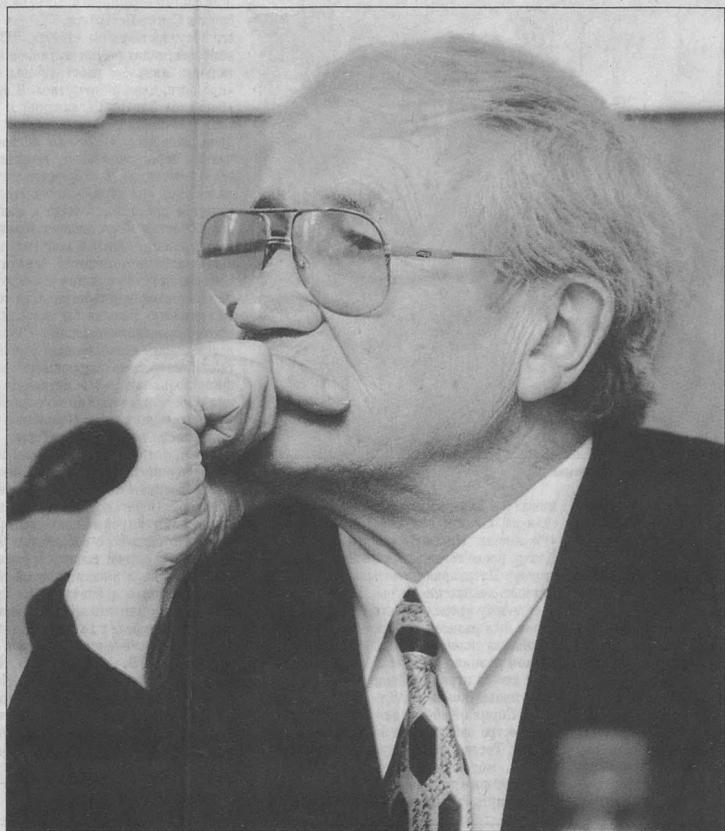
● Какое из своих произведений вам наиболее дорого?

● Вас по-прежнему волнует тема войны?

● Нравится ли вам быть писателем?

— ВСЯКОМУ автору дороже последнее произведение, но если говорить о написанных, то это, наверное, «Три минуты молчания». Я выстрадал этот роман сначала всей шкурой, плавая матросом рыболовного траулера по трем морям, затем когда пытался сунуть всю постигнутую правду в романную форму. Наконец, это был последний роман, напечатанный в «Новом мире». Твардовский, — я хранил страницы с его пометами и запись его выступления на редколлегии, и мне дорого, что он нашел этот роман верной достойной, которую нельзя не напечатать, хоть и предвидел все последствия этого шага для журнала. Последствия не замедлили — критические батареи вели огонь на уничтожение. Но существовало потребный новомировский комплект, и библиотекарки обрабатывали мое внимание на обрз журнала, где пролегла темная полоса — мой страницы, захватанные пальцами многотысячного читателя. Я горжусь этой оценкой больше, чем премией.

А самая счастливая моя книга — «Верный Руслан». Ее судьба сложилась как-то легко и празднично. Сразу посыпались предложения о переводах. Но начиналось все печально. Я принес сатирический рассказ страниц на 50 в «Новый мир». Твардовский прочитал и как-то так явно сказал, что можно тиснуть. И еще он сказал, что вы своего пса не разгрызаете, у него своя настоящая трагедия, а вы из него полищеское дерьмо делаете. Рассказ я забрал, а когда принес новую вещь, то Хрущев уже был снят и лагерная



тема закрыта. Роман вышел на Западе, однако это даже подтолкнуло издание на родине.

Но наиболее важной из всех мне кажется тема войны, затронутая в «Генерале и его армии». Я вообще думаю, что темы войны и ГУЛАГа перешагнули порог века, то есть там будут вызывать вопросы. И если тяжесть войны, ее грязь, кровь, пот — темы так или иначе отработанные в нашей «лейтенантской» литературе, то вопросы о многих тысячах людей, напрасно заблужденных во славу генеральского или маршальского честолюбия, чванства, бессовестности, непрофессионализма, всегда прихотливая цензурой на корню. В молодости я зарабатывал деньги писанием книг за генералов. Тогда Воениздат заедал огромную серию «Военные мемуары». Все, что у генералов никак не пошло, постарались загнать в цензурные берега. Ну, и поскольку сами генералы с пером не в ладах, приставили к ним молодых литераторов. Рассказывались ими, конечно, в десять раз больше и в сто раз интереснее, чем попало в книги. Историю, легкую по основу моего романа, мне повелел читать военный совет в армии Москаленко, командарма, которому отдал армию генерала Чибисова, захватившего плацдарм под Киевом и чуть было не взявшего его. Но тут было решено, что столицу Украины должен брать командарм-украинец. Сложность работы с моим генералом была в том, что, как я только брался за карандаш, он тут же начинал говорить дерзанным голосом и казенными фразами. Тем не менее я запомнил из его рассказов массу подробностей. Для освежения памяти моим генералом нужны были документы. Воениздат выписывал нам разовые пропуска на какой-то определенный сейф в гигантском военном архиве, что в Подольске. А любой из них — клад. В особенности — материалы военной прокуратуры, трибуналов, донесения «СМЕРШа», клязусы особистов.

В результате я написал рассказ в 20 страниц «Генерал и его армия». Принес его в 68-м году Твардовскому. Он его зарубил, сказав при этом, что здесь материала на целый роман, а вы его хотите в 20 страничек втиснуть. Для этого надо быть очень большим мастером, каким вы не являетесь. Тогда я начал писать роман. Через некоторое время пошел слух, что я пишу роман о генерале Власове. Им он нужен был, чтобы прийти ко мне с обыском. Но я все-таки не держал, а Власов у меня был зашифрован как генерал Андреев. Да и появлялся он у меня всего в одном эпизоде. Но я так работаю, что, если мне предстоит написать одну страничку, я прочту 150 книжек по этой теме. При этом в этой большой трагедии, всю глубину которой наша литература не постигла и не выразила, меня интересовало не столько Власов, сколько те люди, которые за ним пошлы, повернули оружие против своих.

Об этой и других военных тайнах напишут люди, рожденные после войны, которым будет доступна вся необходимая информация. Сменится еще одна когорта, но одну бы уже надо смеить сегодня. Много лет мы твердили о нападении военной машины гитлеризма. Но пора сказать, что против нас воевал народ, поверивший своему вождю и в «новый порядок», который следует принести на штыках и броне и называть другому народу, — как и наш народ верил своему вождю и тому, что нам выпало осчастливить мир новым откровением. Народная война была с обеих сторон, только она сделала людьми победа, а их — поражение. Никак не могу согласиться с Солженицыным, что победы нужны правителям, для народов же благодетельно поражение. Эта победа была нам нужнее, чем любому другому народу, чтобы не считать себя быдлом, которым всякий проходивший может повелевать. Народ осознал, что

он, а не партия, завоевал эту победу, а она отказалась принять на себя всех мертвецов, даже подчасных их точно. Вырвала ли она быть совестью нации? Так вышло нам самозамыслие и так началось освобождение от ложных воззрений.

Если бы войну проиграло только немецкое правительство, то покаяние в Германии не было бы таким всенародным. Они считали себя виновными в том, что нанесли такой урон человечеству. И когда Горбачев намернул, что хорошо бы народный всплеск энтузиазма. Вдовы солдат и офицеров, убитых на полях России, отстали от своих пенсий на посылки сюда. У нас на улицах, слышавших русскую речь, слышавших, куда посылать помощь.

К сожалению, сейчас пробиваются и другие настроения. Уже пришли поколения, которые интересуются, чем виновата Германия, если ваш Сталин больше предудил, чем наш Адольф. Как ни странно, эти настроения подстегнуты объединением Германии. Западные немцы так невзлюбили восточных, что называют их советскими немцами. Им очень трудно устроиться на работу, их не берут даже водителями автобусов. Даже казахстанских немцев меньше третируют, чем своих. Они их считают другой нацией, выросшей за 45 послевоенных лет. И предпочитают им русских. Но не «русский порядок», хотя никто не судит, не злорадуется. Похоже, все происходящее в бывшем Советском Союзе рассматривается как свалившиеся несчастья, в котором старшее поколение видит отчасти и свою вину. Правда, этот немецкий комплекс не очень увязывается с тем, что мы спустя 20 лет после войны жили лучше, чем спустя 50, но покаяние и не идет логики, оно жаждет искупления добром.

Что же хорошего в том, чтобы быть писателем? Тяжелая и нудная работа, которая непонятно кому сейчас нужна. И вот в чем парадокс. Россия всегда была страной читателя. Чем ему только мозги ни пудрили и казенной хвалю, и списками в Лету канувших лауреатов, и постановлениями об идеологических ошибках, и публицистикои знатных ставленов, — а все же до конца запудрили, лучшая его часть всегда знала цену хорошей книге, умела найти ее в любых условиях. И вот когда искать ничего стало не надо — издавать все подряд, читать — не хочу, — читатель читать отказывается. В чем причина? Конечно, плохо, что в условиях несвободной литературе приходилось быть вместилищем экономических, политических, философских идей и воззрений. Хорошо, что теперь экономисты, политики рассуждают о своих материях в собственных печатных органах. Но когда все разоплыло по своим местам, выяснилось, что у современной литературы нет своих мыслей, ей нечего поставить читателю. Читатель за время перестройки привык к высоко поднятой планке, которую задали журналы, печатая Булгакова, Платонова, Пастернака. На смену же им вышли так называемые авангардисты. Когда они были в подполье, мы говорили, что это несправедливо, нужно их печатать, дать возможность проявить себя. Но когда пришел их час, пер-

вое, что они сделали, — стали выталкивать из литературы шестидесятников, которые им помогали вылезти, зачастую помогали материально. Это обидно, печально и непонятно. У нас такой вражды к старшим не было. У каждого кружка был свой любимый «старик» — Виктор Некрасов, Паустовский, Антокольский, Ахматова. Мы никогда не думали, что они заедут наш век и занимают наше место. Здесь же, вместо того чтобы «снять разумное, доброе, вечное», пусть и на свой авангардистский манер, они подтвердили тот постулат, что люди не прощают добра. А главное, они не воспользовались своим историческим шансом — отвердить себя, за десять лет не судяли ни одного мало-мальски значительного произведений. Желание убивать ведет к творческому бесплодию. Помимо всех прочих причин, их вина в том, что они отвратили читателя от журнала — нашей национальной формы общения с читателем.

Есть мнение, что миновала эпоха «толстых» журналов, что компьютерная «виртуальная реальность» отвлекает людей от книги, и вообще писательство — профессия вымирающая. Объяснение, я бы сказал, некорректное. Не будем затрагивать экономические вопросы — цена журнала станет пропорциональной заработкам читателя, когда наладится экономическая ситуация в стране. Важнее понять другое. Мы все высказались наконец, мы сказали все, что хотели, и были выслушаны с пониманием и сочувствием. За такую свободу приходится платить, и мы платим обеднением нашего слова — надеюсь, не окончательным. Необходимо отдавать себе отчет в том, что читатель прав — жизнь переменилась и меняется с каждым днем, и читатель ждет от писателя нового слова о новой жизни. Наступает экзамен, неизбежный для каждого пишущего, — показать, насколько он готов это слово произнести. Такова уж писательская доля — всю жизнь сдавать экзамен на зрелость...

Изгнание — неглупое наказание

● Какой вам видится сегодняшняя Россия?

● Что вам помогает быть в курсе событий на родине?

● Видится ли вам выход из сложившейся ситуации?

— НЫНЕШНИЙ МОЙ приезд связан со столь приятным событием, что наверняка это отражается на моем восприятии. А само событие, по-моему, свидетельствует о некоторой тенденции, которая, как мне кажется, должна набирать силу. Дело в том, что несколько лет назад мне позволил человек по имени Борис Гольдман и сказал, что хотел бы издать мои книги. Я думал, это розыгрыш какой-то. Писатели — люди жестокие, и такая штука им вполне по силам. Звонит мне раз. Выяснилось, что он мой горячий поклонник с давних пор, даже мой автограф у него есть, поскольку он попросил своего приятеля, шедшего к Елене Георгиевне Бензур, куда и я должен был прийти, подписать для него книгу. Короче говоря, мы договорились с ним об издании четырехтомника. Когда речь зашла о гонораре, он спросил, сколько бы мне заплатило немецкое издательство. Я сказал: 8 тысяч марок. 10 тысяч долларов вас устроит? Тут я слегка запнулся. Это уже не немецкое, говорю, это американское издательство. А чем мы хуже? Обсуждаем проценты с продавцом. Я думал бороться за 8 или 10, а он говорит: все 100% ваши. А вы что будете с этого иметь? Отвечает, что ему ничего не нужно. «Я считаю себя вашим должником, ваши книги были моими настольными, — а все же до конца запудрили, лучшая его часть всегда знала цену хорошей книге, умела найти ее в любых условиях. И вот когда искать ничего стало не надо — издавать все подряд, читать — не хочу, — читатель читать отказывается. В чем причина? Конечно, плохо, что в условиях несвободной литературе приходилось быть вместилищем экономических, политических, философских идей и воззрений. Хорошо, что теперь экономисты, политики рассуждают о своих материях в собственных печатных органах. Но когда все разоплыло по своим местам, выяснилось, что у современной литературы нет своих мыслей, ей нечего поставить читателю. Читатель за время перестройки привык к высоко поднятой планке, которую задали журналы, печатая Булгакова, Платонова, Пастернака. На смену же им вышли так называемые авангардисты. Когда они были в подполье, мы говорили, что это несправедливо, нужно их печатать, дать возможность проявить себя. Но когда пришел их час, пер-

дельцу, но является достоянием всего общества, доверившего ему распоряжаться этим богатством. Все общество и содержит культуру, подталкивая собственника и благотворительности и налоговой политикой, и всей атмосферой публичного мнения. Можно ведь и так поставить дело, что не артисту придется просить, а господин миллионер попросит артиста принять его дар.

Я понимаю, что в России до этого далеко. Но тем не менее хочется сказать героям первоначального накопления: вы сели играть, господа, вы знали, на что шли. Вам должно быть известно понятие карточного долга — когда не могут заплатить, принято стреляться, но не оправдывается пустотой в кармане. Так же и с государственной казной — негоже оправдываться, да и не совсем же она пуста, если хватает денег на квартиры депутатам, на бензин, на машины. Должны найтись деньги и на то, без чего мы просто не сможем существовать как общество цивилизованное, — на культуру.

То, что меня поразило в этот приезд, — это равнодушие. В прошлый раз, в 95-м году, чувствовалось тревожное ожидание, волнение перед выборами в Думу. Сейчас полный неинтерес: да мало ли кто там будет? Все хорошо. Кого ни выбери, все будет воровать. И мне это даже нравится. Это значит, что окончательно рухнула вера в начальство, надежда на его милости, люди учатся рассчитывать на свои силы.

Я довольно пристально слежу за происходящим в России. Но куда ступаешь ногой на русскую почву, тебя тут же окружает тысяча мелочей, которые невозможно учесть издалека. Да что говорить, даже Солженицын, мне кажется, как-то слишком уверенно стал говорить по приезде. На его месте бы год помолчал, присмотрелся. Одно дело, если общество сознает нужду в моральном авторитете, и другое, если оно единственного желает — чтобы ему не мешали скальзываться в пропасть.

Я все чаще слышу разговоры о фашизме. Это слово давно у нас не оскорбление, в морду за него не дают. Для многих фашизм существует под псевдонимом «апорядок», «твердая рука». Велик соблазн для молодого мужчины — строй, дисциплина, единство сдерживания. Посреди развала, хаоса, энтропии мы с тобой — порядок, воля, власть. А еще больший соблазн — быстрое и кардинальное решение всех вопросов. Чем развязывать долго и нудно — разврем их ударом меча. Ни у кого помощи не проса — сами себя выдернем из кризисов, стрессов, апатий и уныний, из вечной исторической обиды. Как Германия после Веймара. Ясно, не избежать нам сравнения с Германией. Там тоже говорят о том, что фашисты поднимают голову. Но там речь идет о группе в 500-600 человек. Они крайне ограничены интеллектуально, главное, их возможности жестко ограничиваются властями. Власть требует, чтобы они сообщили время и маршрут предполагаемых манифестаций за три дня. За эти три дня организуются восьмидесятилетняя демонстрация антифашистов, которая идет им наперерез. И полиция пропускает восемь тысяч, хотя же стоят и ждут. Тут уж не до боевых топов ступлений. А здесь Александр Проханов дает интервью журналу «Страна и мир», где говорит о том, что ему важно, чтобы сохранилось государство. Пускай даже фашизм будет, потому что если можно построить великое русское государство ценой фашизма, он бы на это пошел. И этот человек спойножно живет в должности главного редактора большой газеты!

Бездействие и бессилие власти тотально, приходится только удивляться, что Москва строится, еще чего-то продается. Купил как-то костюм. Оказался нашего производства. Очень приличная вещь. В Германии же все друг друга уверяют, что в России вообще ничего нет — что челнок привезут, то и продается. Это обидно слышать, еще горше осознавать происходящее. В России всегда было плохо с покаянием. Тем памянее слова Бориса Ельцина над гробами троих юношей, погибших за демократию: «Простите меня, вашего президента, что я не сумел спасти ваших сыновей, не смог их уберечь». Сегодня он мог бы те слова повторить — но над куда большим числом гробов и с гораздо большим основанием. Однако на всех нас лежит вина — либо на сильника, либо жертвы, — и могут ли виновные судить виновных? Хорошо бы неизбежный будущий процесс обратиться в диспут, в котором мы, помогая друг другу, можем быть, добились бы ответа на те вечные вопросы, которые все задает и задает нам русская литература: кто виноват? что делать? а суди кто?

Полосу подготовила Ольга ТИМОФЕВА Фото Сергея ХВОРОСТАВА



Пожелаю «Общей газете» стать всеобщей. К сожалению, не читаю вас, потому что ваше изделие не продается на вокзале в Висбадене — наряду с «Частной жизнью» и «Женскими делами». Надеюсь по переезде в Россию стать постоянным читателем.

Владимов